

Двадцать пять франков старшей сестры. Ги де Мопассан

Да, он был в самом деле смешон, папаша Павлиль: длинные паучы ноги, длинные руки, маленькое туловище, остроконечная голова и на макушке огненно-рыжий хохол.

Он был по природе шут, деревенский шут, рожденный проказничать, смешить, выкидывать шутки — шутки незамысловатые, потому что он был сын крестьянина и сам полуграмотный крестьянин. Да, господь бог создал его потешать прочих деревенских бедняков, у которых нет ни театров, ни праздников. И он потешал их на совесть. В кафе люди ставили ему выпивку, чтобы он только не уходил; и он храбро пил, смеясь, подшучивая, подтрунивая надо всеми и никого не обижая, а люди вокруг него покатывались со смеху.

Он был так забавен, что, несмотря на все его безобразие, даже девки не в силах были ему противиться, до того они хохотали. Не переставая шутить, он затаскивал девку куда-нибудь за забор, в канаву или в хлев и там принимался щекотать и тискать ее с такими смешными прибаутками, что она животики надрывала, отталкивая его. Тогда он начинал прыгать и притворяться, будто хочет повеситься; она помирала со смеху, и слезы текли у нее из глаз, а он улучал момент и валил ее наземь так ловко, что все они попадались, даже те, кто потехи ради издевался над ним.

Однажды, в конце июня, он нанялся жнецом к фермеру Ле-Ариво, около Рувилья. Три недели кряду он днем и ночью развлекал жнецов и жниц своими шутками. Днем, в поле, посреди скошенных колосьев, нахлобучив старую соломенную шляпу, скрывавшую его рыжий хохол, он длинными худыми руками подбирал и вязал в снопы желтую рожь; потом вдруг останавливался, выкидывал какое-нибудь смешное колечко, и по всему полю раздавался хохот жнецов, не спускавших с него глаз. Ночью он, словно огромное пресмыкающееся, пробирался по соломенной подстилке чердака, где спали женщины. Он давал волю рукам, кругом раздавались крики, поднимался шум. Его выгоняли, пинали деревянными башмаками, и среди взрывов хохота всего чердака он убежал на четвереньках, как фантастическая обезьяна.

В последний день уборки урожая, когда шесть лошадей в яблоках, управляемые парнем в блузе, с бантом на фуражке, медленно катили по широкой белой дороге украшенную лентами телегу со жнецами, из которой неслись звуки волынки, пение, крики веселящихся и подвыпивших людей, Павлиль выплясывал посреди развалившихся на телеге женщин такой танец пьяного сатира, что согливые мальчишки только рты разевали, а крестьяне дивились его невероятному телосложению.

Вдруг, когда телега уже подъезжала к воротам фермы Ле-Ариво, Павлиль подпрыгнул, подняв руки, но прежде, чем встать на ноги, неудачно зацепился за борт длинной тележки, кувырнулся вниз, треснулся о колесо и свалился на дорогу.

Товарищи бросились к нему. Он не шевелился. Один глаз был открыт, другой закрыт, огромные руки и ноги растянулись в пыли, а сам он был мертвенно бледен от страха.

Когда дотронулись до его правой ноги, он закричал, а когда его попытались поднять, снова рухнул на землю.

— Похоже, лапу сломал, — сказал один из крестьян.

И в самом деле, нога была сломана.

Хозяин, Ле-Ариво, велел уложить его на стол и послал верхового за доктором в Рувиль. Доктор приехал через час.

Фермер выказал большую щедрость и объявил, что оплатит содержание жнеца в больнице.

Доктор отвез Павлиль в своем экипаже и поместил его в выбеленной известью палате, где ему наложили повязку.

Как только Павлиль понял, что не умрет, а, напротив, будет, ничего не делая, полеживать на спине, да о нем же еще будут заботиться, лечить его, холить и кормить, его охватила беспредельная радость, и он засмеялся тихим, сдержанным смехом, показывая свои гнилые зубы.

Когда к его постели подходила сестра, он корчил довольную рожу, подмигивал, кривил рот на сторону или шевелил длинным, чрезвычайно подвижным носом. Соседи по палате не могли при всех своих болезнях удержаться от хохота, а старшая сестра частенько подходила к его кровати немножко позабавиться. Для нее у Павлиль находились пресмешные выходки и свежие остроты, а так как в нем жил актер на все роли, то он в угоду ей корчил из себя верующего и разговаривал на божественные темы с серьезным видом человека, который знает, что есть минуты, когда шутить нельзя.

Однажды он вздумал спеть сестре несколько песенок. Она пришла в восторг и стала подходить к нему еще чаще; потом, решив использовать его голос, принесла книгу церковных песнопений. К этому времени Павлиль начал немного двигаться, и теперь можно было наблюдать, как он, сидя на кровати, воспевал фистулой хвалы предвечному, деве Марии и святому духу, а толстая сестра, стоя рядом, задавала ему тон и отбивала пальцем такт. Когда он мог уже ходить, старшая сестра предложила оставить его в больнице на некоторое время, с тем чтобы он пел в часовне, прислуживал во время мессы и вообще исполнял обязанности пономаря. Павлиль согласился. И целый месяц, еще хромя, облачившись в белый стихарь, он пел псалмы и возглашал ответы, так уморительно задирая при этом голову, что число прихожан сильно увеличилось: вместо церкви стали ходить к обедне в больничную часовню.

Но всему бывает конец, и когда Павлиль совершенно поправился, пришлось его выписать. В благодарность старшая сестра подарила ему двадцать пять франков.

Очутившись на улице с деньгами в кармане, Павлиль стал думать, что бы ему теперь предпринять. Вернуться в деревню? Конечно, но не прежде, чем он как следует выпьет, — ему так давно не приходилось этого делать! И он зашел в кафе. В городе он бывал не чаще одного или двух раз в год, и у него осталось, в особенности от одного из таких посещений, смутное и пьянящее воспоминание кутежа.

И вот он спросил стаканчик водки и выпил его залпом, чтобы промочить горло, а затем велел налить другой, чтобы распробовать вкус.

Как только крепкая, жгучая водка коснулась языка и нёба Павильи, как только он после долгого воздержания с особой остротой почувствовал любимое и желанное действие спирта, который ласкает, и щиплет, и обжигает, и наполняет своим запахом весь рот, он понял, что выпьет целую бутылку, и тотчас спросил, сколько это будет стоить: рюмками было бы дороже. Ему насчитали три франка. Он заплатил и стал спокойно напиваться.

Он делал это не без системы, так как хотел сохранить достаточную ясность сознания и для других удовольствий. Поэтому, дойдя до того градуса, когда кажется, что тебе кланяются трубы на домах, он немедленно встал и заплетающимся шагом, с бутылкой под мышкой, отправился на поиски публичного дома.

Он нашел его не без труда: сначала спросил дорогу у возчика, который ее не знал, потом у почтальона, который дал неверные сведения, потом у булочника, который стал в ответ ругаться и обозвал его старой свиньей, и наконец у военного, который любезно проводил его и посоветовал выбрать Королеву.

Хотя не было еще полудня, Павильи вошел в обитель наслаждения; его встретила служанка и хотела выставить его за дверь. Но он рассмешил ее гримасой, показал три франка — обычную плату за особый товар, продававшийся в этом месте, — и не без труда поднялся за ней по темной лестнице во второй этаж.

Войдя в комнату, он потребовал, чтобы вызвали Королеву, и стал поджидать ее, потягивая водку из горлышка бутылки.

Дверь открылась, и показалась девица. Она была огромного роста, жирная, красная, необъятная. Уверенным взглядом, взглядом знатока она смерила свалившегося в кресло пьяницу и спросила:

— И не стыдно тебе в такое время?

Он пробормотал:

— Чего стыдно, принцесса?

— Да беспокоить даму, когда она даже не успела пообедать!

Он хотел пошутить:

— Храбрец часов не выбирает.

— Не выбирает, чтобы нахлестаться, старый горшок!

Павильи рассердился:

— Во-первых, я не горшок, а во-вторых, я не пьян.

— Не пьян?

— Нет, не пьян.

— Не пьян! Да ты на ногах не стоишь!

Она глядела на него с яростью женщины, которую оторвали от обеда.

Он поднялся.

— Ну... ну... так хочешь, станцюю тебе польку?

И, чтобы показать, как он тверд на ногах, Павильи влез на стул, сделал пируэт и вспрыгнул на кровать, где его огромные грязные сапоги оставили два ужасающих пятна.

— Ах, скотина! — закричала девица.

Бросившись к нему, онахватила его кулаком в живот, да так, что Павильи потерял равновесие, свалился на спинку кровати, перекувырнулся, ударился о комод, опрокинув таз и кувшин с водой, и наконец с громким воплем рухнул на пол.

Раздался страшный грохот, а крики Павильи были так пронзительны, что сбежался весь дом: хозяин, хозяйка, служанка и персонал.

Хозяин прежде всего попытался поднять парня, но тот, как только его поставили на ноги, вновь потерял равновесие и стал вопить, что у него сломалась нога — другая, целая, целая!

Так оно и было. Побежали за врачом. Пришел тот же доктор, что лечил Павильи у Ле-Ариво.

— Как, опять вы? — сказал он.

— Да, сударь.

— Что же с вами?

— Мне сломали другую ногу, господин доктор.

— Кто же это сделал, приятель?

— Да девка!

Все слушали: девицы в капотах, с еще жирными от прерванного обеда ртами, взбешенная хозяйка, встревоженный хозяин.

— Скверная история! — сказал доктор. — Как вам известно, муниципалитет не очень доброжелательно к вам относится. Постарайтесь замять это дело.

— Как это устроить? — спросил хозяин.

— Да самое лучшее будет поместить этого человека в больницу, откуда он только что выписался, и оплатить его содержание.

Хозяин отвечал:

— Лучше уж это, чем неприятности.

И вот через полчаса пьяный и охающий Павильи снова появился в той палате, откуда вышел час тому назад.

Старшая сестра всплеснула руками. Она была и огорчена, потому что Павильи ей нравился, и улыбалась, потому что ей приятно было снова увидеть его.

— Ну, мой друг, что такое с вами случилось?

— Да другая нога теперь сломалась, госпожа сестрица!

— Ах, так вы снова влезли на телегу с соломой, старый озорник?

И Павильи смущенно и уклончиво пробормотал:

— Нет... нет... На этот раз, на этот раз... нет... нет... Это совсем не я виноват, совсем не я... Во всем виновата подстилка^[1]... Сестра не могла добиться другого объяснения и так и не узнала, что истинной причиной рецидива были ее двадцать пять франков.

Примечания

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 28 марта 1888 года.

¹ В оригинале слово *paillasse*, имеющее два значения: «подстилка» и «проститутка».